

Жизни и роли



Иннокентий  
Смоктуновский  
Быть!



Жизни и роли

Иннокентий Смоктуновский

**Быть!**

«Алисторус»

2017

УДК 791.44.071.2 Смоктуновский И.М.  
ББК 85.374.3(2)6-8 Смоктуновский И.М.

### **Смоктуновский И. М.**

Быть! / И. М. Смоктуновский — «Алисторус», 2017 — (Жизни и роли)

ISBN 978-5-906947-10-9

«Вы называли меня гениальным актером. Но почему же тогда мне все так трудно?!» (Иннокентий Смоктуновский) Каких только суждений ни удостоивался Иннокентий Смоктуновский! Ярлыки закрепляли сыгранные им «странные персонажи» — князь Мышкин, Гамлет, Иудушка Головлев, Деточкин, чеховский Иванов... Он как бы срастался с ними. Сам, теперь уже без сомнения великий артист, говорил об этом так: «Бывают такие времена в работе и самочувствии актеров, когда знание огромных текстов наизусть — ничто по сравнению с правом на произнесение этого текста. Вот груз. Вот гранит, алмаз, глыба...» Светлой полосой своей жизни он считал время, освещенное героями Достоевского. С детства много раз перечитывая «Преступление и наказание», Смоктуновский начал сниматься в фильме по знаменитому роману, зная его чуть ли не наизусть и признаваясь: «Я счастлив оттого, что не только не одинок, а просто разделяю общую любовь всего просветленного Достоевским человечества». В этой книге, написанной самим артистом, все оставлено так, как было задумано автором. В ней он предельно искренен, как и в своих ролях.

УДК 791.44.071.2 Смоктуновский И.М.  
ББК 85.374.3(2)6-8 Смоктуновский И.М.

ISBN 978-5-906947-10-9

© Смоктуновский И. М., 2017

© Алисторус, 2017

## Содержание

Помню	7
Это было так давно...	7
Завершая год	28
Три ступеньки вниз	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# **Иннокентий Михайлович Смоктуновский**

## **Быть!**

© И. Смоктуновский, 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

## Помню

### Это было так давно...

Полвека...

Будут речи, их будет много. Будет долгое, но оттого не менее торжественное перечисление достижений наших, наших общих побед. Это естественно. Странно, если б не было этого долгого перечня наших трудов, радостей, завоеваний. Они должны быть – мы знаем, и они есть – мы уверены, и они еще будут – мы надеемся. Уж такими плодоносными, хотя и нелегкими, беспокойными, были эти пятьдесят лет, чтобы не принести нам уверенности в самих себе, в наших стремлениях.

Полвека. Нет, лучше – пятьдесят. Пятидесятилетие. Может быть, как раз специфика работы требовала и учила выявлять полное, отказываясь от полумер. Разница не в словах, для меня здесь суть; моей жизни нет этих пятидесяти, и это они дали моей жизни форму. Не хочу, не могу пребывать в половинчатости. Этому учили меня жизнь, мать, друзья. Это подсказывают дети.

Дочь, маленькая Машка, выпалась днем и долго не могла уснуть поздним темным вечером. Я одел ее, и мы пошли бродить по лесным тропинкам. Задрав мордашку, она пальчиком то там то сям отмечала только что появившиеся звезды. Я объяснил ей как мог, что это светила, как и наше солнце, только они очень далеко, значительно дальше, чем мы отошли от нашего дома, но до дому тоже далеко, и поэтому надо возвращаться, мама будет недовольна такой долгой прогулкой. Дома я попросил дочь: «Расскажи маме, что мы видели».

– Звезды, – ответила она просто.

Мама спросила:

– Папа тебе не достал звезду?

– Нет.

– Как ты думаешь, папа может достать звезду?

Мордашка была до того серьезной – нельзя было не заметить, что зреет некое мироощущение; и она ответила:

– Да. Палкой только.

Все сполна, и человек рожден, чтоб видеть, пользоваться полнотой окружающего его, и не беда, коли звезды поначалу достают палкой. Ведь надо учиться чем-то тянуться к ним. Я в детстве дотягивался до ранеток и подсолнухов в чужом саду – это моя полнота стремлений, мои возможности тогда...

Теперь дети иные. И мы не можем не гордиться их поиском полноты и «космически длинных палок». Жизнь, время докажут возможность осуществления самых дерзких мечтаний и близость недостижимого. Пятьдесят лет заставили нас верить в это. Время, время... Если бы его можно было поворачивать вспять, наверное, мы стали бы все делать так хорошо, уж так славно, что после не оставалось бы ничего другого, как только радоваться и гордиться. И было б тогда все так хорошо, чудно.

Но время – вещь необычайно длинная; и оно почему-то катит только вперед. И уж давно открыта истина, что прошлое по отношению к будущему находится в настоящем, а настоящее к будущему – в прошлом. Не к чему крутить колесо. Мы жили, живем и – самое, пожалуй, главное – будем жить. Если же сейчас нам ведома не одна гордость за содеянное, а вместе с ней не оставляет досада за ошибки прошедшего, то просто мы – наследные обладатели и боли, и радости, и надежд. Наверное, и сейчас мы совершаем какие-то промахи, которые поймем несколько позже, потому что еще не знаем, не выявили и всех своих достоинств.

Время неумолимо. Оно разделяет людей на поколения; но оно же соединяет их.

Странно и, больше того, парадоксально: я, который учился в школе далеко не наилучшим образом, теперь, когда мой сын (в четвертом классе) приносит четверку, совершенно искренне нахожу в себе основания возмущаться и упрекать его. Что это – власть ли родителя, неосознанный ли педагогический ход, проявление вздорного характера или обычная забота старших о младших, вступающих в жизнь? А может, предостережение от тех ошибок, которые не задумываясь делал я и которые теперь наконец стали для меня очевидны? Не попадаю ли я в такое же смешное и беспомощно-невесомое положение, как тот незадачливый папаша из старого рассказа?..





Мать Анна Акимовна Смоктунович



Отец Михаил Петрович Смоктунович



Оттопыренные уши, веснушки и друг детства (у меня еще рыжий вихор)

«Отец (*упрекая*). Когда Авраам Линкольн был в твоём возрасте, он был лучшим учеником в классе.

Сын (*не задумываясь*). Когда Авраам Линкольн был в твоём возрасте, он был президентом».

Суть стара, но и всегда нова – во времени. Не кроется ли в крошечном рассказе большая глубина, чем просто юмор или чем просто может показаться? Понять одного можно, но и не понять другого нельзя.

Обстоятельства. Люди. Время.

Вот, пожалуй, время – единственный по-настоящему оправдывающий меня фактор. Мы печемся о наших маленьких гражданах, о их судьбах, зная сложность настоящего и готовя их к доброму, но не менее сложному будущему. Годы торопят и повышают требовательность. И все сильнее ощущаешь, как необходимо все более полно выявлять свои, наши желания, способности.

Конечно, это дерзость, но предположить, что в какой-то мере мы знаем себя, – можно. Если не в полной, то уж, в любом случае, чуть лучше, чем всякий со стороны.

Но и обольщаться, я думаю, тоже не следует: мы о себе знаем немного. И это прекрасно.

Потому что мы – в стремлении познать себя. В этом стремлении ищем возможностей совершенствоваться. И если говорить об особых приметах или наиболее характерных отличительных чертах наших, то не отметить широты натуры, доходящей до беспечности, доброты, граничащей с расточительностью, просто нельзя. Быть может, это слишком одностороннее суждение. Не знаю наверное, но настаиваю, что ширью доброты мы вправе гордиться; впрочем, так же, как не можем не ратовать за ее разумное проявление...

Все чрезмерное оборачивается едва ли не противоположностью. Мы не всегда владеем своими сдерживающими центрами. Это нередко приводит к разочарованию. К угрызению совести. Или скажем просто: к провалам в реализации наших желаний.

Широта натуры – само по себе понятие, вмещающее многое. А если мы, закусив удила, начинаем демонстрировать это качество, то легко оказываемся в положении жителей потемкинских деревень – фасад красив, но и только. От доброты душевной мы легко жонглируем словами: талантливо, гениально, удивительно, феноменально. Ярлык есть – и ладно! Он избавляет от труда мыслить, анализировать и делать справедливый вывод. Мы добрые, верим на слово. А почуяв некоторые шероховатости, успокаиваем себя: их-де сравняет широта взгляда. Отметив размах в общем, увы, упускаем промахи в частностях. Когда привыкнешь к подобному воззрению, есть риск упустить главное – объективность, правду, – ежели не быть честными служителями, жрецами ее даже в те минуты, когда она не причесана и не так уж красива, как того требуют каноны добропорядочности.

Ни время, прошедшее с момента случившегося, ни наша добрая, светлая память о Евгении Урбанском не должны затмить его – такого, каков он был.

Он завоевал нас обаянием простоты и прямотой суждений. Именно эти его качества не позволяют нам сочинять о нем легенды, приукрашивать действительность. Женя был достаточно достойный человек, чтобы о нем можно и должно было говорить правду, и ничего, кроме правды.

Только тогда мы сможем в полной мере выявить его суть и горечь потери его.

Женька, Женька, ну зачем ты сел в тот автомобиль?..

Я знаю, ты не мог не поехать, ты не любишь передоверять и не знаешь своих пределов. В тебе было чрезмерно много «я сам!», «я сам!». Да, с твоей силищей трудно было понять, что человек не безграничен. Автомобиль лежит на боку, а тебя...

Евгений Урбанский был добр, как хлеб, и прост, как земля.

Вот несколько запомнившихся когда-то прожитых минут.

Вечерами, свободными от дневных лихорадок-съемок, как-то отрешенно припав к гитаре, на каких-то умиротворяющих низких обертонах он приглашал вас в листопад, где некогда было так просто и бездумно, что, вспоминая, вы понимаете всю непоправимость утраты и только можете, как человек, не сумевший уберечь свое счастье, лишь улыбаться невпопад и всем существом своим говорить, что это было так давно, что грустить теперь смешно. И все же вы грустите, неловко улыбаясь, потому что не все в жизни зависит от вас, а быть может, и скорее всего, вы принесли себя в жертву долгу или чему-то еще более значительному и теперь вам не осталось ничего другого, как только одиноко бродить по воспоминаниям и тихо осыпаться осевшим саду...

У каждого свой листопад. Если даже все было прекрасно, листопад придет, придет осень с шуршанием пожелтевшей листвы.

Схваченные ветром на лету,  
Листья пролетают там и тут.  
Это было так давно,  
Что грустить теперь смешно.  
Ну а если грустно, все равно.

В минуту, когда мы были готовы предаться светлой грусти по дорогим нам людям, оставшимся где-то за хребтом Саянских гор, далеко от нашей таежной съемочной площадки, он, заграбастав ту же самую гитару, как любимую подружку, в свои огромные, но красивые ручищи, вроде бы наказуя нас за минуты слабости и саможаления (здесь он хитрил, ему радостно было узнавать власть своего голоса и умения; да полноте, он больше освобождался

сам от грусти и тоски по оставшимся в Москве, хотя всячески старался это скрыть), – он переправлял нас к тому, что уже состоялось наверняка, не только было, но и есть, стало привычкой – доброй привычкой, которой, увы, все так же мало.

Дроля мой, ах, дроля мой,  
На сердце уроненный...

Бедная гитара, как он ее терзал! В такие минуты ей многое приходилось претерпеть, пережить. Не они ли – минуты самоотверженной привязанности к человеку – перерождали кусочек дерева в гордую и страстную гитару? Оставаясь гитарой, она, служа Женьке, умудрялась быть и контрабасом, и ударником, банджо, мандолиной, нашей наивной русской балалайкой. Была его верной подружкой и делала для него все, чего бы он ни захотел. Он был порою груб, награждая ее всевозможными надписями и росписями; на гитарной спине – размашисто выцарапанная карта Красноярского края и все меткое, злободневное, что сопровождало и было нашей съемочной жизнью.

Потом она с ним вернулась в Москву и пожертвовала собой, разлетевшись в щепы, когда в минуту обиды, неудовлетворенности собой и окружающими попросилась в руку хозяина, чтоб уберечь его от больших неприятностей.

Она была мудрая, гитара, а он – легко ранимым, обидеть его мог ребенок.

Помню, во время съемок «Неотправленного письма» он вскормил двух соколов, и они, выучившись летать, куда-то исчезали, но всегда возвращались, находили его, доверчиво садились на плечи и голову. Даже когда отснявшись он уехал, соколы еще долго прилетали в лагерь, но все наши старания заменить Женю оканчивались неудачей. Им нужен был он. И соколы улетали.

Найдя их на берегу Енисея, он и нарек одного – Еня, другого – Сея. Сочинил о них сказ и под гитару, как под гусли, распевал на былинно-мудрый манер:

На реке на Енисее  
Жили-были Еня с Сеей.  
Еня жрал все, что попало,  
Сее было всего мало...

Я не помню дальше слов, но это был смешной, симпатично-глупый рассказ о ненасытных птичьих утробах, прожорливости, достойной Гаргантюа с Пантагрюэлем, и о том, как в конце концов Еня с Сеей сожрали своего человеческого кормильца, отдав ему, впрочем, должное: недурен оказался на вкус.

Действительно, выходить этот хилый народ – поначалу их было трое (третьего звали Ус, тоже по названию реки, на которой стоял наш лагерь) – было совсем нелегко. Понадобились не только Женина изобретательность, но и сторонние советы многих других, после чего Ус и издох. Я ожидал, что Женя расстроится. Ничуть! Наоборот, с еще большим ожесточением он принялся холить своих соколов. И безжалостно расстреливал мелкую живность вокруг лагеря. Мне было жаль птах, и я сказал:

– Не вижу в этом резона. Чтоб жили одни, ты убиваешь других. Что-то здесь не так.

– Быть может, в этом начало бессмертия... Вороны и соколы живут триста лет и больше. Они пронесут суть моей заботы через века. Посмотри, какие они гордые. Это от сознания долголетия.

– Так вот уж прямо и сознание...

– Ловишь, мерзавец! Не от сознания – так от чувства или от чего-нибудь другого. От инстинкта.

– Есть инстинкт жизни, но не долголетия.



Очень старый снимок из 14-й школы г. Красноярск. Восьмой класс, 1941 год



Первый снимок на сцене. А.П. Чехов «Предложение». Драмкружок школы № 14 г. Красноярска

Я посмотрел. Они были еще в той поре, когда недельный цыпленок мог бы преподавать им уроки гордости и орлиного достоинства. Были они голые, из них торчали черенки будущих перьев, не то что летать да парить – держаться-то на ногах они не могли, только противно шипели и разевали клюв. В общем, ничего такого, что видел в них он, я не заметил.

– Если это признаки гордыни, я тоже горд. И ты. Пищать мы все великие мастера.

– А что ты думаешь... Быть может, в этом и есть наибольшая мудрость. Человек пищит оттого, что сам способен на большее, а не только оттого, что, видите ли, неудовлетворен имеющимся. Они пищат оттого, что хотят быть соколами. И будут ими – уже оттого, что пищат. Требуют – недовольны худым, голым детством. Они ж вылупились соколами!

Он сделал очень серьезное лицо и пошел нарочито плавно, давая понять, что не может, не должен, черт побери, расплескать, потерять то, что только сейчас посетило его и осенило, открыв в простоте незыблемость. Ему не свойственны были кривляния, так же, кстати, как и камни за пазухой. Уже издали он крикнул:

– Не путай! Одно дело – ныть, совсем другое – пищать!

Через несколько минут послышались выстрелы вновь испеченного философа, выстраивающего собственное мироздание столь странным путем. Пищать – значит мочь, значит быть.

Я не знаю никого из актеров, кто бы мог стать вровень с ним по силе социальной убежденности, гражданственности.

Его Губанов в «Коммунисте» будет для меня долго служить образцом человеческой страстности, а Астахов в «Чистом небе» – стойкости и веры в доброе.

Он обладал могучим даром убеждать, отдавая первенство не перевоплощению и многоличию, а цельности.

Однажды, в бивуачных условиях съемочной жизни, он спросил меня:

– Ты любишь Маяковского?

Я невразумительно промолвил что-то вроде:

– Не очень...

Он даже не понял:

– Что?..

Я все лежал на своей полке нашего вагона. Он – на своей. А на меня уже накатывалась лавина четких, упругих рифм, мыслей, страстей. Я попробовал приподняться от неожиданности происходящего, а он продолжал в том же тоне, словно читая стихи:

Лежи, невежда,  
Я сначала тебя убью,  
А потом ты встанешь  
просветленным,  
С чувством стыда за свою  
темноту...

Ему понадобилось всего два вечера. И сейчас, когда я уже давно «встал», мне понятна природа этой всеобъемлющей любви одного художника к другому. Тогда не было «чтива» как такового – была самоотрешенность. Теперь меня не поражает его великолепное знание Маяковского, потому что близость этих людей очевидна.

И как жаль, что мы в свое время не сберегли одного, а позже – другого! Для меня ясно и еще одно: до тех пор, пока живы все те, кто был хотя бы раз в обществе Урбанского, он будет жить вместе с ними. И не столь уж важно, назовут или не назовут его именем школы в далеком северном городке, где он учился (это, кажется, пока еще обсуждается). Спешить, впрочем, не обязательно. Для меня же она давно названа, дорогая мне Женькина школа. А ему и при жизни было наплевать «на бронзы многопудье и мраморную слизь»... Ты со мной, и ты в моей дорожке...

Я попытаюсь поднять тот автомобиль и поведу по пути твоих стремлений. Лишь иногда будет сжиматься сердце от щемящей тоски: место рядом – пусто...

Фильм «Неотправленное письмо» давно отснят и прошел по экранам, завоевав благодарность поклонников и четко определив непримиримость противников. Последних, к сожалению, оказалось значительно больше, чем позволительно ожидать после честно, от сердца выполненного труда. Но это так, и было бы нелепо и пусто, если б было по-другому.

Истина – трудно, но рождается в споре. Не принявших фильм настолько больше, что не может быть весело, а становится еще более грустно оттого, что такого могло и не быть.

Фильм снимали самобытные, талантливые люди – режиссер Калатозов Михаил Константинович и чудо-оператор Урусевский Сергей Павлович. Люди сильные, волевые, знающие, чего они хотят в творчестве. Оттого, пожалуй, в чем-то жестокие. После успеха фильма «Летят журавли» им нельзя отказать в праве на свое видение в кинематографе, и оно проявлялось в полной мере.

Что привлекает нас сегодня в кино? Лишь одно: изучение человека, его достоинства, гордости, слабости его и недостатков, то есть изучение характера, открывающее причастность времени, народу и поколению.

Здесь все мы, актеры, снимавшиеся в фильме, и авторы этого фильма, были едины. Но вот ведь завычка: сами-то способы выразить все это, художественные средства для изучения

сути, изучения самого человека виделись нам столь разяще противоположно, что мы не могли не спорить; и мы спорили.

Стороны определились. Калатозов, Урусевский и второй режиссер Бела Мироновна Фридман – с одной стороны, Урбанский и я – с другой. Вася Ливанов остался нейтрален – это был его первый фильм, и Васю можно понять.

Таня Самойлова активно в творческом споре не участвовала, а когда приходила на съемки, то сидела где-нибудь в сторонке и тихо наблюдала за нашей перебранкой. Нервы ее были, очевидно, не столь напряжены, как наши (из четырех персонажей фильма только у нее был дублер – местная девушка), и она имела право этого созерцания. Но однажды, в перерыве между дублями, в то время, когда на лес выливали сотни килограммов горячего, а мы, пользуясь минутой, старались доказать правоту своих позиций, она вдруг решила напомнить нам о нашем забытом долге перед режиссером, несколько истерично заявив:

– Как вам (это мне и Урбанскому) не стыдно: вместо благодарности режиссеру за то, что взял нас, выбрал из числа многих и снимает, вы, забыв об этом, несете какую-то околесицу – «все не так, все не то и не туда вообще»!

Мы так и сидели с открытыми ртами, обалдев от сознания той легкости, с которой могли бы решиться все споры и проблемы. Оказалось, нужно быть лишь благодарным – и все остальное плавно уляжется само собой. Мы и не подозревали за Таней столь глубокого знания производства, анализа взаимоотношений людей и столь высоких морально-этических приверженностей и теперь во все глаза смотрели на нее, благодарствуя, что напомнила о нашей черной, нет, я бы даже сказал – наичернейшей (это отчетливо слышалось в несколько повышенном тоне актрисы) неблагодарности. Мы были пристыжены до крайности, рты оставались открыты. Может, мы так и окаменели бы с лицами, полными невысказанной признательности, недоумения, неловкости и стыда, но Женя вдруг закрыл рот и почему-то легко и четко сказал:

– Ага... Понятно!

Загадки зрели одна за другой, в глазах запрыгали черти; я перевел дух и тоже закрыл рот. Мне тоже стало понятно. Но не очень. А если честно, то стало совсем непонятно.

По всему чувствовалось, что продолжение следует, но какое – никто не знал. И оттого лица вытягивались, глаза становились доверчивыми, все смотрели друг на друга и были какими-то благодетельными. Стало тихо, тепло и уютно, как на вулкане. Режиссер посмотрел на Таню и перевел взгляд себе на ноги.

– Таня, – очень-очень миролюбиво начал Женя; никто не знал за ним столь осторожного голоса, – однажды Константин Сергеевич Станиславский своим ученикам задал эту: «Горит ваш банк. Действуйте!!!» Кто-то побежал за водой, кто-то стал рвать на себе волосы и заламывать руки, кто-то тащил воображаемую лестницу и по ней судорожно пытался проникнуть сквозь огонь на второй этаж, кто-то падал обугленный, обезумевший от страшной боли и страданий. Все было так, будто горел банк. И лишь один Василий Иванович Качалов, который тоже должен был принимать участие в этюде разбушевавшегося пожара банка, спокойно сидел нога на ногу, переводя взгляд с одного на другого. «Стоп! Василий Иванович, – окликнул его недовольный Станиславский, – почему вы не участвуете?» – «Я участвую, – невозмутимо ответил Качалов. – Мои деньги в другом банке».

Не знаю, что было там – давно, где проходил тот этюд, но у нас на съемочной площадке поднялся хохот. Смеялись все: было хорошо, просто и свободно.

– Мне кажется, Таня, что твои деньги тоже в другом банке. А наши здесь, в этом. И он горит. Не думаю, чтоб Михаил Константинович и Сергей Палыч столь упрощенно нуждались в сюсюкающей благодарности, в отсутствии которой ты так правильно, а главное вовремя упрекнула нас... Но каждый день сгорает тридцать-сорок метров, полезных метров нашего банка, и только потому мы забываем сказать режиссеру наше тихое русское «мерси»...



Послышались голоса пиротехников о готовности участка леса к пожару, мы взвалили на себя рюкзаки, под тяжестью которых подкашивались ноги, повязали мокрые полотенца вокруг шей (так легче переносить семидесятиградусную жару в пылающем лесу) и ушли в огонь.

...Семья людей, ваш локоть, ощущение идущего рядом – в лазурь, в гору, по буеракам. Если и оглянусь назад, то лишь затем, чтобы увереннее идти вперед...

Первым со съемок «Неотправленного письма», спеша на гастроли своего театра, уезжал Женя; его герой, по сюжету, умирал раньше других.



Восемнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт

Почему-то – или рано смеркалось, или он поздно уезжал – было очень темно. Его бас перекидывался во мраке от одной группы к другой. Становилось грустно и завидно. Грустно оттого, что уезжал он, завидно оттого, что не уезжали мы, каждый из нас.

Он уезжал.

Коллектив провожал своего любимца, своего «акына». Может, поэтому было так памятно темно, двигались, как тени, с какими-то факирскими, загадочными рожами, пиротехники и декораторы, наши добрые друзья и заводилы. Они что-то замышляли. Через малое время Женья вскочил на подножку затарахтевшего грузовика – и темноту разорвало ослепительное созвездие ракет. Не дав догореть одним, темноту неба вспарывали другие. Наверное, было договорено: патронов не жалеть, холостыми не стрелять. Нестройное, но достаточно дружное «ура!», всплески вскинутых рук и – улыбающееся, счастливое, со слезами лицо Женьки. Выхваченный светом ракет, стоявший на подножке, он был какой-то светлой громадой, уходящей в темноту. После фейерверка наступила тьма. Мы стояли притихшие, не двигались, чтобы не натолкнуться друг на друга. Послышалось раздосадованное: «Сейчас, ах ты, надо ж!» – и, извиняясь, одиноко взлетело запоздавшее светило, озарив осиротевшую кучку людей. Грузовика и Женьки не было. Со стороны перевала до нас долетело:

– Спаси-и-ибо!..

И только красный стоп-сигнал доверительно посылал приветы всем вообще и никому в частности.

Уехал. Стали расходиться. Уехал...

К счастью, живем мы не под стеклянным колпаком. Живем в среде таких же, как мы сами. Стараемся воспитать в себе то, что привлекает в других, так же, как они, возможно, чем-то пользуются нашим. По тому, что ты вбираешь и вобрал, можно судить, кто был рядом с тобой, кто знаменовал твой мир, с кем ты делил горе и кто тебе поведал о своем счастье, о котором русский человек не кричит – тут он так же целомудрен, как и в беде.

В последний раз мы виделись на «Мосфильме». Он сидел в автобусе. Группа готовилась ехать на натурную съемку. Кого-то ждали, никто не высказывал недовольства – на студиях это стало нормой. Увидев меня, он вышел.

Раньше я довольно часто замечал, что он смотрел на меня как-то изучающе. Сначала это раздражало, корбило, а потом не то я привык, не то он прекратил эти смотрины, а может, смотрел, но не столь явно. И теперь вдруг он опять глубоко и тихо вглядывался в меня. Мы давно не видались, и не хотелось огорчать его замечанием.

– Ты давно в Москве? – спросил он.

– Да вот, поди, уж неделю безвыездно.

– Не даешь о себе знать... Хорош!

– Закрутился... Пока не очень идет, не могу набрести на нужное, в мыслях и заботах уходит все время.

– Походка эта – твоего нового героя, что ли?

– Да... даже не заметил...

– Все прикидываешься! С тобой хочет познакомиться наш актер Закариадзе.

Из машины вышел пожилой, совсем седой мужчина; я не видел фильма «Отец солдата», но слышал о вдохновенной работе Закариадзе и сказал ему об этом.

Женья по-доброму раскатисто засмеялся.

– Я говорил вам, он тюкнутый. Это Закариадзе, да другой. То его брат.

Немного посмеялись неловкости минуты.

– Как твои? Соломка? – сказал он потом.

– Хороши. Филипп очень вытянулся, похож на пшеничный колосок – весь желтый и длинный. Не хочет учиться музыке, никакого уважения ко мне. Машка – прелесть! Глядя на меня, говорит что-то вроде «ге», а что она хочет сказать, не совсем понимаю, думаю – луч-

шее. Соломка очень не хотела, чтобы я снимался здесь, наверное, устала ждать. Что у вас? Как Дзидра? Кого ждете?

– Я парня, а Дзидра – она говорит, что ей все равно, лишь бы все прошло благополучно. По-прежнему он смотрел в упор.

– Ты извини меня, дорогой, но если будет мальчишка, он будет Кешкой. Девчонку жена назовет.

Помню: в висках застучало до испарины.

– Ох ты!.. Спасибо, я рад...

– Ты тут ни при чем! Это мы в честь папы римского Иннокентия.

– Будет тебе!..

Договорились о встрече. Я пошел, оглянулся – он так же тихо смотрел на меня. Я приветно махнул рукой. Никакого впечатления. Словно не ему. Долгий, глубокий, ничего не высказывающий, какой-то замкнутый взгляд, как бы не на меня.

Я развернулся совсем и спросил глазами:

«Что-нибудь случилось?»

И только на это опять молчаливое:

– Нет-нет, ничего, все в порядке. Будь здоров.

Я ушел к себе в группу «Берегись автомобиля». «Берегись автомобиля», «Берегись автомобиля» – почему именно такое название: «Берегись автомобиля»?

Теперь я часто думаю, почему он молчал. Почему он так смотрел? Это не было предчувствием, нет. Последнее время он был недоволен собой, своими работами, какой-то он был тихий...

Я не вижу лица. Передо мной тщательно причесанный, но все же взъерошенный затылок мальчика. Неестественно красные оттопыренные уши. Ловлю себя на неуместной мысли: где-то я уже видел такие вот уши вразлет. Кажется, сама природа позаботилась, чтобы они улавливали и задерживали в мире звуков самые прекрасные, повелевая его еще пухлым ручонкам заставить этот зал насторожиться, замереть и уйти в сказку, когда-то созданную Бахом.

Это идет экзамен в музыкальной школе.

Вот здесь же, несколько впереди, – преподаватель класса Лидия Евгеньевна. Если бы я даже не слышал мальчика, а видел одни руки этой немолодой одинокой женщины, я, кажется, мог бы напеть мелодию. Никогда еще не видел столь звучащих рук.

Мальчика сменила девочка. Неловкая пауза, успокаивающие реплики – неверный аккорд. И опять пауза. «Вот сейчас я вспомню с восьмой ноты, и тогда...» И она вспомнила. И была так поэтична и так нежна, что, может, именно первое самозабвение родило эту неуловимую гармоническую несделанность минуты. Но мать ее, конечно, была недовольна, бранила ее, и девочка в растерянности плакала...

Мы ехали с Лидией Евгеньевной вместе. Она сидела откинувшись, усталая, мудро успокоившаяся. На коленях у нее лежал сноп цветов, а руки, обычные руки, безвольно лежали на цветах, не замечая их. И всю дорогу этого одинокого человека занимали ее мальчики и девочки – ее дети. Я подумал: «Когда так много души отдано детям, не может не воздаться сторицей. Посев должен дать всходы, это добрый посев».

Каждый из нас не избежал в свое время вопроса: «Кем ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?» Словно в неосознанную отместку за бестактность некогда поставленных вопросов мы теперь с высоты завоеванного безмятежно бросаем младшим:

– А кем ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?

И это в то время, когда столько путей и столько дорог. И они не вымощены и совсем уж не прямы. У взрослых голова кругом идет. Впрочем, спросить всегда легче, чем заметить, а заметив – подсказать, помочь.

Корреспондент газеты был краток. После двух-трех деловых фраз, помолчав, он сказал в телефонную трубку:

– Как жаль, что не будет вашего Каренина.

Ударило слово «ваш».

– Почему же?

– Мне думается... Вы бы нашли... Вы бы подошли...

Я ждал. Он, видимо, хотел выразить суть своей мысли короче и оттого так долго тянул. Наконец он нашел и заговорил просто:

– С позиций объективных, нераскрытых, вы поспорили бы с хрестоматийной привычкой считать Каренина человеком дурным, машиной того времени, а не героем, который мог бы служить примером каких-то человеческих качеств, недостающих, может быть, многим и сейчас...

Разговор не ладился. Настал мой черед молчать. Он высказывал то, о чем думал я, те же мысли, которые приходили и мне. Человек на том конце провода как-то угадал их. Выходит, я шел по пути наименьшего сопротивления? (Временные обстоятельства не позволили делом доказать правоту моих позиций, но зато разрешили быть более свободным в суждениях).

После «Гамлета» я получил почти двенадцать тысяч писем. Из них, пожалуй, в трех-четыре тысячах пишут: «Как Вы точно сыграли Гамлета, я таким его себе и представлял (представляла)». Первое время я думал: «Что же это такое? Так просто? Так легко? Это издевательство, что ли? А четыре месяца мучительных репетиций у меня дома с режиссером Розой Сиротой, которые помогли выявить существо моего Гамлета?»

Теперь я знаю, что всех этих людей, написавших взволнованные строки, повело за собой и объединило желание увидеть активно воплощенное, борющееся, побеждающее добро. Не зло, только добро – и сто раз добро! Труд и друзья помогли извлечь корни из моих неизвестных и объединить их в известной жизни шекспировской трагедии. Люди у станков, за чертежными досками, за рулем, взращивающие хлеб и покоряющие просторы вселенной, – все они жаждут знать свое время, его веяния, его суть. Потому-то и стал так близок многим людям Евгений Урбанский – он обладал удивительным дарованием объединять, быть своим всюду. Герой нашего времени...

Да, так о Каренине.

Надо признать: Алексей Александрович Каренин поставлен не в те самые выгодные и блестящие положения, где можно так славно показать всю красоту и благородство души. К тому же Анна однажды, не без основания, обнаружила, что у него большие уши, да еще и торчат. Читателя, который с первых же страниц романа примет сторону Анны, не любящего к тому же, когда хрустят пальцами, явно не устроят и анкетные данные. В самом деле: служба в царской канцелярии, орден Александра Невского, парадные лестницы, роскошный особняк и слуги. Плохой человек. Отрицательный персонаж.



Сауджен из пьесы А. Токаева «Женихи». Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, 1949 год



Норильск, 1949 год

Несколько жанрово, но довольно близко к тому, с чем я собирался поспорить. Да возьмите лишь одно: разве может истинная женщина оставить, бросить своих детей ради любимого или ради тщеславия – все равно?

Человек, нашедший в себе силы понять, нашедший силы задушить свою гордыню, ревность, простить, простить совершенно и, полюбив так страстно, как не мог полюбить Вронский, не сказать ни слова упрека не только ей, но и ему.

Человек, который, верой и правдой служа отчизне, в условиях самодержавия поднял голову в защиту нацменьшинств и в меру возможностей их отстаивал. Человек, который, в конце концов, едва ли не осознанно идет на крушение карьеры из-за того, что позволяет себе – непозволительное (недозволенное) – ну, в пылу полемики я, пожалуй, могу сделать его революционером. Правда, это уже другая крайность...

Станьте на более выгодную позицию Анны и преподайте мне ее мироощущение в сложившейся ситуации – вот тогда я смогу в полной мере быть ответственным адвокатом своего подзащитного, который, право же, имел более опытного и мудрого поверенного – Льва Николаевича Толстого. Я приходил к этим мыслям рабочим порядком, все глубже и отчетливее понимая, почему он начал с нее. Даже по той же самой хрестоматии, в условиях тогдашней России, она была более закрепощена, и Толстой не мог не стать на защиту ее, не начать с нее. Женщина дает нам жизнь, растит наших детей, оберегает их, олицетворяет мир, любовь, родной дом...

Не любить и любить – состояния диаметрально противоположные. Не любят – и даже достоинства человека видятся его недостатками. Для меня очевидно: он – хороший человек, едва ли не всеобъемлющий, большой государственный муж с прогрессивными взглядами. Как можно поставить его в разряд желчных и недалеких? Он выше окружающих. Не каждому на роду написано быть открыто мягким и добрым. Есть натуры скрытные, но не менее благородные. Мне кажется, Толстой показывает, как человек даже в самых наихудших обстоятельствах может быть богом и должен быть им. Только тогда он человек. Правда, он и жесток, но и всепрощающ до самозабвения. Много ль из того, что на глупой голове красивые уши? Да, у него уши торчат вразлет. Но если бы все были на одно лицо и у всех были бы одинаковые уши, то еще, чего доброго, Анна, увидев у Каренина уши ничуть не хуже, чем у Вронского, да и у нее самой, просто не ушла бы, и вообще неизвестно, написал ли бы тогда Лев Николаевич Толстой свой роман. Эва до чего можно дойти-то. А все они, уши!

Иногда люди бегут как раз от того, что ищут. Ищут же обычно то, что любят, чего недостает. По этому недостающему мы и узнаем суть самого ищущего. Люди мелкие ищут комфорта, любой популярности, денег, люди крупные – самих себя. Нередки случаи, когда приходишь просветленным и очищенным к тому, что когда-то так безрассудно бросил. Время, время...

Я думаю об Александре Николаевиче Вертинском – человеке, исколесившем полсвета. Право же, для нас гораздо более важно, что он долго искал и нашел наконец путь на Родину, чем то, в чем когда-то заблуждался. Как это у него: «Много русского солнца и света будет в жизни дочурок моих. И что самое главное – это то, что Родина будет у них». Не-е-ет, он был не просто «солист Мосэстрады» – и это прекрасно знают даже те, кто не разделяет моего обожания. Впрочем, я их понимаю: у него ведь тоже были «каренинские уши». Если бы он мог участвовать в конкурсе на роль Каренина, то прошел бы вне конкурса. И я убежден, что не внешнее решило бы такой исход выбора.

Он заставлял нас заново почувствовать красоту и величие русской речи, русского романа, русского духа. Преподавать такое мог лишь человек, самозабвенно любящий. Сквозь



мытарства и мишуру успеха на чужбине он свято пронес трепетность к своему Отечеству, душой и телом был с ним в годы военных испытаний. Он пел о Родине. Его песни нужны и сейчас. Его деятельность – поэта, актера, музыканта и гражданина – просится на экран, в документальный фильм «Александр Вертинский». Уж не говоря о том, что надо не знать, не любить язык наш, чтобы еще раз не пройти по красотам и певучести его в исполнении этого большого художника. Наконец, нужно быть абсолютно бесхозяйственным, чтобы не сделать ни того ни другого. Время показало, что это наша забытая гордость.

Юбилей. Полвека. Я ждал его как праздника, как улыбки, как отдыха после длинной дороги, но в какие-то дни и забывал о нем за будничностью дел, забот, тревог. Юбилей, юбилей... Подстригали газоны, на балконах разбивали целые оранжереи, словно желая сохранить все это зеленое великолепие до ноября. Был случай, в магазине мне сказали: «Спасибо, приходите еще...» Служба безопасности городского движения разлиновала все мостовые под зебру, словно до этого автомобилистам разрешалось давить пешеходов, а теперь уж хватит! В театре приготовили хорошие, юбилейные спектакли, словно раньше можно было показывать плохие. Это естественно. Праздник ведь не будни. И огорчительно, что ты запросто говоришь другу по будням то, чего не скажешь в день рождения. Юбилей, юбилей... Веха зрелости, роста, новых пределов. Я волнуюсь и встречаю его, как и все мы... Вспоминаю: «Скажите, мастер, когда вы пишете свои картины, о чем вы думаете?» – «Я не думаю. Я волнуюсь...»

Никогда еще не было столь взволнованного времени, как теперь. Заставляют думать и участвовать в наших волнениях даже машины. Добрый, милый, но усталый трамвай уступает место самолетам – ракетам, соединяющим континенты. Ухарскую ямщицкую тройку сейчас показывают уже как достопримечательность взволнованного старого. Над кроватью моего сына висит фотография поверхности Луны, вырезанная из журнала. Дети почему-то все больше рисуют ракеты, неведомые, вздыбленные миры, и мы уже научились оттуда смотреть на нашу маленькую Землю. Земля отливает голубой позолотой, и от нее исходит такой покой, такая тишина, что хочется поскорее вернуться к себе домой, на Землю, и верить, что она не может быть иной. Если дети рисуют Землю мирной и доброй, манящей и ждущей, мы не вправе обмануть их надежд.

Так что, бишь, я хотел спросить-то тебя? Ах, да...

Кем же ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?

Мы не были бы зачарованными современниками искусства Майи Плисецкой, если б она долго думала, что ответить на этот вопрос. Наверное, она волновалась, и ее вело то увлечение, которому она отдавала время и свои хрупкие девичьи силы в школьном возрасте. Нам повезло, что ею это угадано. А может быть, кто-то, заметив ее неосознанное увлечение, не задавая ненужных вопросов, по-человечески и вовремя потревожился, позаботясь о ней?

...Он шел по пыльной дороге сорок первого года. Огромный и рыжий, смущенный, что ему поминутно приходилось менять ногу в строю. Человек, портрет которого я носил в медальоне Гамлета. Мой отец – Михаил Петрович Смоктунович. Человек добрых шалостей и игры, человек залихватского характера, ухарства и лихачества. Он вскормил меня, и тогда я провожал его в последний раз по кричащей, взволнованной дороге к эшелону, уходившему на фронт.

Мне не нужно было искать его в строю. Два метра удивительно сложенных мускулов, рыжая, по-мужски красивая голова виделись сразу. Я со страхом подумал: «Какая большая и неукротимая мишень!» Я бежал, меня трясло. Очевидно, почувствовав, он поймал меня взглядом и отрывисто бросил:

– Ты что?

– Ничего...

В горле пересохло. Он, изучающе помолчав, крикнул:

– Ты смотри!..

Он ушел, мой президент.

И я смотрю.

Я помню. Я смотрю...

Волнуется педагог музыки, в коридоре замер отец мальчика – того, который играет сейчас. Перед нами совершенно очевидное дарование, угаданное и уже направленное по нужному руслу. Мальчику четырнадцать лет. Что это такое? Откуда? И отвечаешь: мальчик, наверное, волнуется, потому что его увлечение легко растворяется в аккордах музыки. Он этого еще не осознает. У него лишь краснеют уши. И пусть краснеют. И пусть до поры не осознает. Пусть смело идет по дороге, куда послал его отец – морской капитан третьего ранга в отставке, который, может быть, идя в бой, волновался не так, как сейчас, посылая сына на этот экзамен. Стоит побледневший, подсознательно ощущающий ответственность момента мой Филипп. Потом шумно аплодирует мальчику, радуясь успеху своего друга и не так активно – девочке, которая играла удивительно проникновенно. Сын в таком возрасте, когда на девчонок смотрят свысока. Со временем это уйдет, уступив место гармонии – прекрасному зову природы – любви и нежности. Как бы хотелось, чтобы в добром мире земных тревог и забот не было места диссонансам. А пока пусть доверчиво идет сын по дороге неизведанного, по пути надежд, добрых юбилеев, свершений и всего светлого, что могут породить желания человека нашего времени, человека Руси.

Я буду смотреть. Буду помнить...

1967 г.



Бионделло. «Укрощение строптивой». Сталинградский театр им. Горького, 1953 год

## Завершая год

Один из прошедших декаблей, по-доброму завершая свой год, всеми событиями, делами и встречами, как бы говорил: «Дети, ну что вы суетитесь, мечетесь как неприкаянные? Это же не последний ваш декабрь, будут еще и март, и май – все еще впереди, все еще будет».

И для тех, кто был близок с тем декабрем, понимал его, – им было много легче забыть невзгоды уходящего года и не очень-то обольщаться простотой грядущего. Завершался большой год, и завершался достойно. И одно это в атмосфере предновогодней жизни вселяло покой и освобожденность от бремени чрезмерно громких надежд. Чего же загадывать, зачем скучно предрешать в сусальных новогодних пожеланиях дела, мысли и чувства – ведь все же будет, все впереди.

Было просто. Совсем не загадывалось ничего, не думалось о близком завтра, и поэтому бессмертие, должно быть, о котором ну напрочь не вспоминалось, было рядом, под боком, и при желании его, наверное, можно было бы потрогать, прикоснуться руками, не подозревая, однако, значимости минуты и того, к чему ты только что мог быть причастен. И уж совсем не ведая, что и сам ты становишься частичкой бытия вечного, непреходящего. Дело только за догадливостью, за сообразительностью. Но каждый уже однажды был запущен и проносился по своей крошечной орбите сутолоки и забот дня; не то очередь приобщиться к этой редкой возможности была бы куда большей, чем на выставку Тутанхамона или на мимолетное свидание с Моной Лизой, привезенной в Москву на две недели из Парижа.

Это уходил год, в который американцы вступили на поверхность Луны. Шаг был дерзким. Мир прильнул к телевизорам. Земля была возбуждена, у нее появилась соперница, принявшая землян.

Сев в ракету, трое полетели на Луну; оставшиеся же на Земле желали жизни им, здоровья там, в мертвом мире, лишенном даже сквозняков, и ждали их обратно.

Первый гордый полет Юрия Гагарина всегда и всеми воспринимался не только как подвиг советского народа, но и как общечеловеческий подвиг. Не было газет и журналов в мире без его портрета, где бы не сияла его улыбка. Он был «наш», простой, российский, скромный. Но событие было столь огромно, что его никак не вмещали никакие территориальные, ни социальные границы даже такой сверхкрупной державы, как Россия.

И вот теперь мне подумалось: на каком бы языке они, эти трое, ни говорили, им знакомы, понятны и близки слова: люблю, мир, дети, земля, мать, завтра, хлеб, весна, черемуха.

Не имея своего телевизора, я впился в него у друзей на соседней даче. Изображение хоть и не четкое, но захватывающее – это точно. Люди – на Луне! Взволнованный, бежал домой, делая большие прыжки, медленно, как бы зависая в незначительном притяжении Луны. Мою несколько необычную манеру двигаться по дачным дорожкам в тот день никто не принял ни за сумасбродство, ни за сумасшествие, хотя невольных свидетелей этого аттракциона было немало.

Время – бесстрастный блюститель лишь циклов, ритмов, как показалось, удовлетворенно отмечавшее, что дети этого его периода совсем недурны, и поэтому, может быть, их не следует баловать, впрочем, как и предыдущих, – продолжало свой мерный путь, жонглируя мирами в бескрайности Вселенной.

Лето того года подарило мне несколько свободных от съемок дней. Не знаю я, что такое королевский подарок, никогда его не видел, хотя и бывал на ленче у принцессы Маргарет – родной сестры английской королевы, – быть может, то, что я был приглашен, и есть королевский подарок? Очень может быть. Но те дни, что удалось мне побывать на юге, – поистине подарок королевский, иначе не могу о них сказать. И, получив эту возможность, почувствовал, как колыхнулась, заворочалась дремавшая, должно быть, до того охота – жажда к паразитиче-

скому существованию. И с воплем «к морю, фруктам, солнцу и...» я полетел к отдыхающей на юге семье. Мне удалось достать путевки в Дом творчества литераторов.

Море! Наша Машка, перед тем как полететь на юг, вдруг соотнесла себя в пространстве: «У моря, наверное, я буду совсем маленькая?» Ей тогда было четыре с половиной года. Как она удивительно права! У моря все мы дети. Вернее, все мы, взрослые, становимся детьми. Вдруг появляется желание играть, барахтаться в воде – кто дальше заплывет, кто нырнет глубже, достанешь ли со дна ракушки и, наглотавшись солено-йодистой воды до глухоты, позаложив ушные перепонки, забыв о мудрости веков «труд создал человека», будешь прыгать на одной ноге, как девочка, играющая в «классы», чтобы вернуть, восстановить связь, прерванную с миром, и вылить из ушей морскую воду, согретую твоим теплом.

Вспоминаю более сложное время – война, наша часть после форсирования Вислы в районе Непорента (помню точно лишь название, а что это – лес, селение или просто местность – не знаю) прошла маршем многие десятки километров на северо-запад, затем круто повернула на восток, и командиры сказали, что через шесть-восемь дней, если мы будем двигаться все так же, как сейчас, мы увидим море. В это время, идя быстрым маршем, мы пленили многих – или пленяли, в общем брали в плен, пожалуй, так будет вернее, – немцев, каждый из которых серьезно и с тоской говорил: «Алес капут», «Гитлер капут», «Их бин коммунист, камраден». Все мы жили одним: близким концом войны, а теперь еще прибавилось какое-то праздничное и волшебное ощущение скорой встречи с морем. Это был март сорок пятого года. Два года чудовищной, изнурительной, изматывающей фронтовой жизни не смогли убить невероятного желания жить, радости весны, близкой победы... Должно быть, организм втянулся и привык, найдя вполне возможным жить и развиваться в окопах, в боях, в походах, сжиматься несколько, из окружения выходя, и радоваться любой минуте отдыха, и, спать ложась в окоп, благодарить судьбу за трудный день, что завершился жизнью и доброй темной ночью.

Какое счастье – мы побеждаем зло, фашизм. Мы будем жить. Мы дали людям жизнь. И мы спасли весь мир. Мы будем жить. Свободны будем мы. И так будет всегда. А там, за сопками, за тем горизонтом, будет море. Как выглядит оно? Всегдашняя загадка – почему оно так тянет к себе? Может быть, родившиеся у моря и живущие возле не испытывают этой власти. Тогда немало прекрасного никогда не изведает их сердца, и это горько. Но, думается, этот великий кудесник не мог обнести щедростью своих береговых домочадцев и посвящает их во что-то такое, чему трудно подыскать определение, что можно познать лишь с годами, с детства босоногого, и в существование чего мы, таежные, глубинно континентальные поселенцы, и поверить-то не могли бы.

До той поры я никогда не видел моря. Что это – просто много-много воды? И говорят, что берегов не видно никаких. Ну, это уж хватило – берегов не видно! Ври, но так-то уж зачем – они должны быть. А знаешь ли, что и вода соленая, и пить ее нельзя, и штормы баллов в восемь ломают любой вал и мол? Зимой оно не замерзает и способно прокормить всех живущих на берегу. А говоришь, что берегов не видно. Так кто и где же там живет? Кого кормить-то?

...Дальний наш переход к морю перемежался рытьем окопов, в которых занимали круговую оборону. Мы то уходили в лес, чтобы переждать короткую тревожную команду «воздух!», и через некоторое время над головами, прерывисто гудя, появлялась «рама», как в микроскоп рассматривая нас, то рассыпались кто куда мог – в любую щель, канаву – при страшных артоналах. Говорили, что это дело рук какой-то Большой Берты, которая до удивления легко и просто в какую-то минуту-полторы превращала огромные массивы в кратеры воронок и в терриконы грубо вынутой разрывами земли. Из одной такой воронки в другую, по мере продвижения вперед, пришлось переползать и скатываться вниз и вновь карабкаться вверх. Смешного было мало. Осталось там много наших парней.

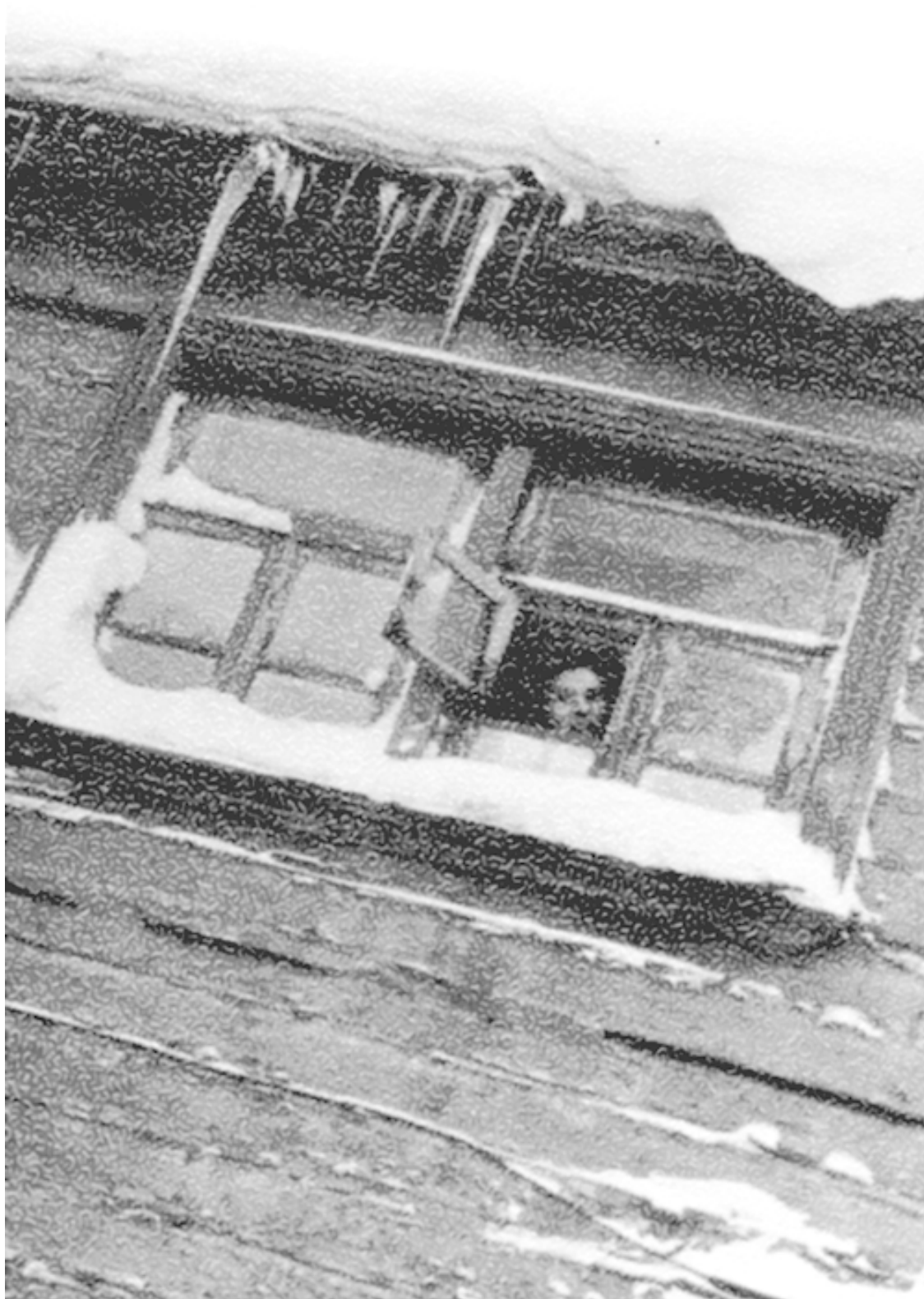
Так, помню, встретило нас море. С фашистских кораблей, стоявших в бухте, между городами Сопотом и Хилем, в нас швыряли «тракторами» – так говорили наши доморощенные

остряки. Само же море увидели мы к исходу следующего дня. Кто-то закричал: «Смотрите, море!» Сквозь строй редких сосен и других каких-то великанов, изогнутых и искореженных, должно быть ветром с моря, просматривалось небо. Всюду было небо. Красиво, но и непривычно, словно ненароком набрали на край земли. И даже страшно почему-то стало. Где же море? Да вот же, перед тобой! Опять смотрю и ничего... замираю – смыв стык горизонта в одну голубизну с вечерним небосклоном, спокойно, величаво простиралось море, как зеркало огромное, положенное так, чтобы небо смотрелось лишь в него. Сколь можно глазом охватить, действительно и берегов не видно. Где ж тот парень – он был прав. Ах, да. Он никогда уж спорить и острить не будет. Он остался там. Тишина. Как будто не было той ужасной ночи и все мы вместе здесь пред жизнью вечною стоим – и никаких вопросов, все понятно; как в рот воды набрали; никто ни слова. Слишком уж разными вдруг показались война и мир. Нет, в войне не стоит жить, хоть ты и выжил, выстоял. Но то была не жизнь, а лишь борьба со смертью, злом, чтоб жизни быть достойным в мире, у моря, которому тихо прошептали: «Здравствуй».

Кто-то, вытянув руку, тихо указал: «Смотрите, в море огоньки и вспышки». Через какие-то мгновения мир кончился, и со сварливым воем, мгновенно и зловеще нарастая, взрывами вокруг вернулась война.



Перед женитьбой



Будущее жилье на чердаке. Посланников переулок, 7





Потом, лишь через поход, Берлин и многое другое, был мир. Сначала он был пестрым очень. Полотен белых пятна отовсюду, тряпиц на головах и даже в челках лошадей, везущих домашний скарб, и простыни из каждого окна свисали белыми большими языками. Девчонки малые – так их пропаганда рейха напугала нами, что каждая из них махала белой тряпочкой, смотря на нас от страха огромными глазами, ожидая, когда же будут те, с рогами и хвостами.

Пестрый мир! Сколь долгим, непростым был путь к нему от Волги, и только так он мог быть завершен, иначе справедливостью не стала б справедливость. Мы победили, потому что не победить мы не могли. Другого выхода мы просто не имели.

Так вернемся к морю.

Полон пляж народу. Смех, гомон, девчонок писк. Прибрежная полоса моря кипит, кишит от брызг. Насколько глаз хватает, направо и налево, кругом тела, фигуры, статность, здесь, быть может, излишнее брюшко, там тучность, здесь шоколад загара поражает, там белизна и бледность, нетронутая солнцем, под зонтиком ютится. Молодежь, бросающая мяч, преклонный возраст, под тент забравшись, в преферанс играет – забот приятных «полные карманы» у люда обнаженного на пляже. Где отыскать своих среди этого нагромождения тел, загаров, заклеенных носов, панам, купальных шапочек, зонтов, махровых полотенец, защитных очков и бесконечного движения, суеты, где очень важно все и ничего не значит уж следующий миг. На первозданном лежбище котиков, должно быть, легче вновь отыскать спрятавшегося среди камней и родичей намеченный заранее экземпляр.

– Они ушли на пляж со всеми вместе. Может, надо что-то передать? Кто вы?

– Я их отец и муж.

– Вы... Смоктуновский, что ли?

– Да, это я. А что – не надо?

– Да нет! В кино вы помоложе и не похожи вовсе. Вот только голос, пожалуй, ваш, а больше ничего.

– Ну что же делать, каков уж есть, не обессудьте.

– Что?

– Уж не взыщите, – говорю, – за то, что изменился и не таким предстал, как вы бы хотели видеть.

– А-а-а... Да ничего. Не вы же виноваты, что здесь один, а там – совсем другой.

– Не виноват, не виноват, ни в чем не виноват, – бурчал я, соображая, что же делать.

– Ну вот... И там в кино добрее много вы, а здесь, не зная что к чему, за дураков всех держите, наверное. «Не виноват», «не виноват» – никто вас не винит, заладил... Сказать хотела похвалу, но не скажу. Какой, однако же.

– Вы не совсем...

– Да что там говорить... На пляж они ушли. Все в добреньких играют... Детей погладить норовят и приласкать собаку или кошке за ухом почесать – все это «позитура», одна лишь «позитура», чтоб только кто-то видел, а потом сказал: смотрите, какой простой он, и добрый, с кошкой играет, и за ухом ей чешет. За ухом мы все горазды почесать. Вы делом, вы жизнью докажите.

Совсем не ожидал, что обернется таким разрывом. Такая въедливая попалась старушонка. Мне не хотелось говорить – немного подустал, после самолета шум в ушах, несколько тошнит. Она же засекла, должно быть, нежелание это, переведя все на себя. И, уходя, я долго еще слышал голос человека, восставшего и против лжи, и зла, и, как она сказала, «позитуры»... Нашла же слово! Нечего сказать...

Пошел на пляж. Вертолет то проносился над пляжем, то зависал над местом каким-нибудь и опять удалялся – служба безопасности купания вносила излишний шум в уютную людскую кутерьму, но пляжный люд к нему привык, не обращал внимания – летает, ну и пусть себе летает, а завис – пусть повисит; поднадоест – и улетит опять. Я был опознан сразу. «Филипп, Мария, смотрите – папа!» – «Где?» – «Да вон, у лестницы, в начале. Видите, рукой машет?» И вместо того, чтобы ко мне бежать навстречу, Филипп присел на камни, выставив лопатки, Мария также подошла к нему, присела, спина к спине, и они молча воззрились на меня, высказывая интерес, но вместе с тем и скрытость, что ли, чтоб не привлекать внимания к нам и ко мне.

Прекрасные минуты: бодрит прохлада моря, дышать легко, с Машкой на руках и в воду – отдых, такая благодать!

Что может быть прекрасней моря после долгих надоевших съемок, где давно смирились, что порох выдуман и звезд не ухватить – они идут, и фильм снимают, ну, в общем, так же, как могли б и не снимать. Итог давно запрограммирован, он – скучная ненужная середина, чтоб серостью ее не обозвать...

Так, теперь конец года. Декабрь.

Обычное, стереотипное, прескучное предновогоднее интервью.

– Расскажите, пожалуйста, чем для вас был знаменателен этот уходящий год, какое событие вы считаете самым ярким, важным для вас, запомнившимся вам надолго?

– Самым ярким, запомнившимся?... Летом мне удалось быть на юге, и я с дочкой входил в воду. Кругом было так тихо, безлюдно. Море – и мы с ней. Она еще совсем крошечка и не умела плавать, боялась и хотела. Я держал ее за ручку, потом приподнял на руки, и она ножками колотила меня, было больно и вместе с тем было здорово. Вот, должно быть, это...

– Вы серьезно говорите это?

– А почему бы нет? Вполне. И даже более чем.

– Вы считаете самым важным событием...

– Да... Вы так спрашиваете, что я даже несколько испуган. Постойте, дайте подумать, быть может, я что-нибудь и упустил или перепутал. Мне не хотелось бы быть белой вороной – наверное, вы не одному лишь мне вопрос подобный задавали?

– Да, конечно.

– Ну, интересно, и что же отвечали?

– Прежде мне хотелось бы услышать, что вы ответите. Что важного случилось именно у вас?

– Понимаю, одну минутку. События... Год... Да, конечно, только это и больше – ничего. Извините, я прав: другого, большего события не знаю.

И корреспондент ушел. Каким-то скисшим, погасшим настолько, что его было почему-то жалко и хотелось наговорить ему с три короба всякой ерунды, каких-нибудь «банзай-уравиватов». Но, как ни старался вспомнить более значимого события, которое бы оставило след во мне и как-то повлияло на ход дальнейшего, кроме той минуты – минуты удивления, счастья, самозабвения, солнца, жизни – не было события важнее. Но странно, когда уходил корреспондент, мне показалось, что ему было жаль меня. Никогда позже я не видел его, не встречал ни его, ни его столь бойкого интервью. Читал много подобных вопросов к Новому году и, может быть, много столь же бойких ответов. Но, читая эти ответы, вдруг очень четко осознал, чего он ждал от меня тогда, что так мучительно спрашивал, чтоб я сказал, чтоб я отметил. На секунду, только на секунду мне стало неловко, что я забыл об этом, забыл, как вроде бы этого и не было, о том великом шаге человечества, когда ступили на Луну. А ведь это и было моим открытием огромного мира нашей жизни, полноты ее и цели, столь ощутимой и важной, необходимейшей, что лишь ради нее можно было и по-настоящему стоило драться у того безлюдного, мертвого, зловещего, несущего лишь смерть и разрушение побережья и моря. Мне кажется, и Армстронг, когда ступил ногой на лунную поверхность, он думал о Земле, о дочери и сыне, о всей Земле, о нас, о мире.

## Три ступеньки вниз

Сын, будучи еще ребенком, часто столь глубоко сосредотачивался на каких-то своих мыслях, будоражащих его детское воображение, что вывести его из этой погруженности могло только прикосновение. Никакие звуковые сигналы не могли пробить броню его отгороженности от мира. Нас, родителей, это настораживало, и мы обратились к врачу. Диагноз был неожиданно обнадеживающим, и мы втайне не могли не испытывать гордости за свое дитя.

– Вашему Филиппу, должно быть, есть чем думать...

– Это у него наследственное... – на радостях неловко сострил я.

– Да, вы правы, ваша жена производит впечатление тонко думающего человека, так что передайте ей, пусть она успокоится. По поводу же его странного, как вы говорите, отсутствующего взгляда – здесь, я думаю, мы стоим у истоков формирования глубокой, интересной человеческой личности, которой уже теперь, я повторяюсь, есть во что погружаться. Он мыслит – он живет, это естественно.

Мы успокоились и даже в шутку такие моменты обретения ребенком возможности заглянуть в себя определили как «мысли, мысли пошли...»

Однажды Филипп так же самозабвенно «ушел в свою лабораторию», упершись взглядом в одну точку. Я несколько громче, чем позволяло таинство этой минуты, воскликнул:

– Во-во, мысли пошли, мысли...

Впервые услышав мой окрик, ребенок тоном маленького иллюзиониста, удачно закончившего свой фокус, пискнул: «Ушли!» – поясняя и то, что они были, и было их немало, во всяком случае не одна, а какое-то множество мыслей.



Соломка с Филиппом в коляске

Что-то очень похожее происходит теперь со мной, когда я, преисполненный рвения, мыслей и решимости воссоздать некоторые отрезки моей жизни на бумаге, подхожу к столу, беру чистый лист, ручку и...

«Ушли!»

Почему? Что пугает их? Мое неумение? Белизна листа? Но я не собираюсь чернить его ни графоманскими вывертами, ни потугами на нечто оригинальное и, уж конечно, ни претензией на писательский слог и стиль.

Ничего такого я делать не умею, действительно, не хочу, не могу и не буду. Я попытаюсь лишь записать то, что происходило со мной, только это ляжет строчками на белом пятне передо мной.

Ничего, что я буду говорить правду, а? И уж коль скоро я решил обращаться только к ней, то и начну с признания.

Я знаю, почему рой мыслей так поспешно улечивается – причина во мне самом. Я хочу поведать о моих попытках поступить хоть в какой-нибудь московский театр в 1955 году, а даже самые облегченные воспоминания того времени вызывают теперь у меня самого сложную реакцию.

То хочется смеяться, хохотать и бить в ладоши над обилием нелепости происходившего тогда, и хохотать можно было бы довольно долго, смею предположить, что веселье это могло бы продолжаться до слез на глазах и колик в животе; то, напротив, – та неотвратимая безвыходность тогда даже теперь, по прошествии огромного отрезка времени, комком перехватывает горло, и светлая радость, что я вправе считать все осуществленное завоеванным и моим, наполняет все мое существо.

В период подготовки новой работы у артиста порой наступает кризисный момент, когда он не в ладах не только с ролью, пьесой, партнерами, собой, но больше всего с тем эгоистом, который прочно устроился в нем самом. И никакие разговоры, увещания, обращенные к этому квартиранту, ни к чему доброму не приводят – они бесполезны. Меня довольно часто посещает этот товарищ. С каким бы распрекрасным режиссером ни работал в этот «час пик», едва ли не против своей воли обрушиваешь на него град неуважительных взглядов, мыслей, а порой и реплик, вспоминая которые через какое-то время буквально корчишься от стыда и раскаяния. А бедные родные – они герои-мученики. Я, например, едва ли не вслух убеждаю себя, уговаривая: «Ну держи себя в руках», и в это время у себя дома кого-то из домашних уже стригу глазами и закатываю долгие монологи по поводу холодного чая, что, впрочем, совсем не исключает более повышенных тонов, когда чай горяч и я поношу всех жаждущих сжечь мне горло. Виноваты все, во всем, всегда и всюду. Эти мои вывихи дома терпят, стараются не замечать, но все равно это зло не украшает нашей жизни, отнюдь.

Видя, что метод поглаживания по шерстке еще больше ошетинивает меня, жена попыталась однажды погасить этот ненужный пламень путем подбрасывания сухих веточек в него:

– Да-да, конечно, жизнь не удалась, ты несчастен, у тебя все плохо, и с тобой все ясно и кончено.

– Перестань паясничать, какая ты, право...

– Да, я такая... а ты... посмотри, посмотри на свой пиджак.

– На какой еще пиджак я должен смотреть, когда я сижу в халате и ем совершенно сырые яйца... просил всмятку, всмятку, я просил... так нет же, еще я должен озиаться на какие-то сюртуки. Что за дикая фантазия!

– Ты сам почему-то взял сырые, вареные вот.

...Никогда не пойму этих женщин, право, никакой последовательности.

– А на пиджак посмотри... не лишнее, я сейчас принесу...

Все походили с ума. Там режиссер требует: подавай ему жизнь человеческого духа, видите ли. При чем смотрит на меня так, словно готовится проглотить зонд для пробы желудочного сока, здесь пиджаки какие-то должен высматривать... все сговорились довести, добыть...

– Где газета сегодняшняя?

– А что, там сказано, как ты должен делать своего Иванова? Вот она.

– Там не сказано, как я должен делать Иванова, но там, может быть, я смогу найти ответ, на какой пиджак и зачем я должен глазеть.

– Ты напрасно злишься... Даже в самых дерзких своих мечтах ты не мог и предположить, что грудь твою будет украшать премия Ленина, что ты станешь Народным, что будешь необходим, с тобой будут считаться, хотеть работать, встречаться, говорить, видеть. Вспомни, дорогой...

Притащила пиджак и держит на вытянутых руках этакой ширмой передо мной... И молчит!.. Нет, жены – невозможный народ. Знает же прекрасно, что это лауреатство составляет тайную и явную мою гордость. Так нет же, выставила ее и держит вот уже минут семь как живой упрек: не заслуживаешь, не достоин. Выходит, так. А, бог с ними, с женами... такая нечуткость... никогда не пойму их. Да, газета... «В Центральном комитете КПСС»...

– Что такое? Что-нибудь случилось?

«Постановление о работе с творческой молодежью». О, давно бы надо... а то сладу нет... Ну вот, взволнован до того, что простые серьезные вещи не могу понять с одного раза – читаю дважды. Ну наконец-то!..

– Где Филипп, опять гуляет?

– Он в институте, на занятиях...

– Какая жалость... то есть... ладно, потом... Ну вот же... прекрасно: «Содействовать становлению творческих индивидуальностей, а не серой безликости»... «о профессиональном росте и занятости выпускников... не уделяют должного внимания молодежи, не состоящей в союзах».

Не могу спокойно видеть: слишком много для одного утра... До начала репетиции еще полтора часа: хлопнув дверью, «пошел в разгул».

Если действительно дать ход этому постановлению, сколько молодых сердец учащенно забьется в щедрой благодарности за его реальные возможности, сколько удивительно живых умов, светлых мыслей и творческих дерзаний найдут себе поле деятельности... прекрасно... Совсем не предполагал, что утро 21 октября будет таким радостно-взволнованным.

Может быть, мой друг и режиссер Олег Николаевич Ефремов прав, требуя от меня повышенной диалектичности движения в «линии» Иванова. Не может же, в самом деле, Иванов все время быть с застывшей маской обреченности вместо живого лица, он же не монумент, не памятник, как вот этот, например.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.